СИМВОЛ РОССИИ



ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ХУЛИГАНА

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ И ВРАГОВ

Символ России

Коллектив авторов

Жизнь и смерть хулигана. Сергей Есенин глазами друзей и врагов

«Алисторус»
2025

УДК 82-94
ББК 83.3(2=411.2)6

Коллектив авторов

Жизнь и смерть хулигана. Сергей Есенин глазами друзей и врагов / Коллектив авторов — «Алисторус», 2025 — (Символ России)

ISBN 978-5-00222-841-6

Сергей Есенин (1895–1925) — самый любимый поэт России. Гений-самородок, он прожил только 30 лет, но оставил незабываемое наследие: поэмы, драмы, лирические и социальные стихи, многие из которых стали народными песнями. Он точнее других определил суть своей эпохи, времени революционных перемен, когда «хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода». Никто так глубоко не понимал русскую природу. В народной душе навсегда сохранились его стихи, посвященные женщине, и исповедальная лирика, в которой Есенин был предельно искренен и откровенен. Судьба поэта сложилась трагически. На 31-м году жизни поэт, каждую строчку которого ждали миллионы людей, не сумел справиться с острым душевным кризисом и покончил с собой. Впрочем, тайна ухода Есенина до сих пор не раскрыта… В книге, которую вы держите в руках, о поэте рассказывают его современники. Собратья по перу, лучшие друзья и соперники, женщины, которые его любили и те, кто боролся с поэтом. Свидетели его взлета и гибели. Не познав и не поняв Есенина, мы никогда не поймем душу России. Для широкого круга читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82-94
ББК 83.3(2=411.2)6

ISBN 978-5-00222-841-6

© Коллектив авторов, 2025
© Алисторус, 2025

Содержание

Владислав Ходасевич. Есенин 7
Конец ознакомительного фрагмента. 20



Юрий Анненков. Сергей Есенин

Составитель Евгений Тростин Жизнь и смерть хулигана. Сергей Есенин глазами друзей и врагов

Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

© Тростин Е. А., составление, 2025
© АИ «Вершины», 2025

Владислав Ходасевич. Есенин



Владислав Ходасевич.

Летом 1925 года прочел я книжку Есенина под непривычно простым заглавием: «Стихи. 1920—24». Тут были собраны пьесы новые – и не совсем новые, т. е. уже входившие в его сборники. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии.

Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. Я и начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике – итог целой жизни, и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. Тогда я перечел «Собрание стихов и поэм» его – первый и единственный том, изданный Гржебиным. А когда перечел, то понял: сейчас говорить о Есенине невозможно. Книжка, меня (и многих других) взволновавшая, есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные; они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы,

длительны. Мне показалось, что так ли, иначе ли, – судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них – значило либо не договаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решил ждать, что будет. К несчастию, ждать оказалось недолго: в ночь с 27 на 28 декабря, в Петербурге, в гостинице «Англетер», «Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь».

* * *

Он родился 21 сентября 1895 года, в крестьянской семье, в Козминской волости, Рязанской губернии и уезда. С двух лет, по бедности и многочисленности семейства, был отдан на воспитание деду с материнской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет девяти, но более или менее сознательное сочинительство началось с шестнадцатилетнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-учительскую школу.

В своей автобиографии он рассказывает:

«В 18 лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий… Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова».

«Грянул» он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник «Радуница», то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей Козминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств. А «идеи», если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались.

В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он в сущности не знал. Для него родина – своя деревня да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае – ряд таких деревень: избяная Русь, родная сторонушка, не страна: единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия – Русь, Русь – деревня.

Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг – крестьянский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля:

Слухают ракиты
Посвист ветряной…
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.

Такой же нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужицкий Бог:

Шел Господь пытать людей в любови,
Выходил Он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом, в дуброве,
Жамкал деснами зачерствелую пышку.
Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, —

Знать, от голода качается, болезный».
Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь…
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй… маленько крепче будешь».

Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог – отец. Земля – мать. Сын – урожай.

Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинающий Есенин – полуязычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетою в традиционные образы христианского мира. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о христианстве Есенина было бы рискованно. У него христианство – не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих:

Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.
Все в них благостно и свято,
Все тревожно и светло.
Плещет алый мак заката
На озерное стекло.
И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

Вот оно: небо – корова; хлеб, урожай – телок; небо родит урожай, правда высшая воплощается в урожае. Но Есенин сам покамест относится к этой формуле всего лишь как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная и общественная концепция. Но впоследствии мы увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить.

* * *

В конце 1912 года, в Москве, стал ко мне хаживать некий Х. Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров, статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой-королевичем. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От С. В. Киссина (Муни), покойного моего друга, я знал, что Х. в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник.

В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. Тогда это меня коробило, позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. Х. не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смеялся, а ухмылялся. Бывало, придет – на все лады извиняется: да можно ли? да не помешал ли? да, пожалуй, не ко двору пришелся? да не надоел ли? да не пора ли уж уходить? А сам нет – нет да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так: поучить,

наставить. Потому что – нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, – они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да… Любил побеседовать о политике.

Да, помещикам обязательно ужо – красного петуха (неизвестно, что: пустят или пустим). Чтобы, значит, были царь – и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жиды (а вы сами, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеною завладеть. Интеллигенции – земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим: вот, как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных – тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь – она вся хрестьянская, да. Мужик – что? Тьфу, последнее дело, одно слово – смерд. А только ему полагается первое место, потому что он – вроде как соль земли… А потом, помолчав:

– Да. А что она, соль? Полкопейки фунт.

Муни однажды о нем сказал:

– Бова твой подобен солнцу: заходит налево – взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке.

Меж тем Х. изнывал от зависти: не давали ему покою лавры другого мужика, Николая Клюева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги: одну – с предисловием Брюсова, другую – со вступительной статьею В. Свенцицкого, который без обиняков объявил Клюева пророком.

Действительно, гораздо более даровитый, чем Х., Клюев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь: Городецкий о нем звонил во все колокола. Х., понятно, не усидел: тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло: в пророки он не попал и вскоре вернулся, – однако, не без трофея: с фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Клюевым: все трое – в русских рубахах, в смазных сапогах, с балалайками. Об этой поре, в одном из своих очерков петербургской литературной жизни, хорошо рассказал Г. Иванов:

«Приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

– Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?

– Слава тебе Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, – много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу.

Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

– Маракую малость по-басурманскому, – заметил он мой удивленный взгляд. – Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да, что ж это я, – взволновался он, – дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то, – он подмигнул, – если не торопишься, может пополудничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

– Ну, вот и ладно, ну, вот, и чудесно, – сейчас обряжусь…

– Зачем же вам переодеваться?

– Что ты, что ты – разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку – я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

– Ну, вот, – так-то лучше!

– Да, ведь, в ресторан в таком виде, как раз, не пустят.

– В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно».

Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский style russe, не то православие, не то хлыстовство, не то революю-

ция, не то черносотенство. Для Городецкого, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня: он уже побывал к тому времени и символистом, и мистическим анархистом, и мистическим реалистом, и акмеистом. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему занимательно и рекламнее. Но Клюев, хоть и «маракал по-басурманскому», был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, – но барину не перечил: пущай забавляется. А сам между тем не то чтобы вовсе тишком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая да подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу- Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, – выжидал. Чего?

* * *

То, что мой Х. выбалтывал несуразно, отрывочно и вразброд, можно привести в некоторую систему. Получится, приблизительно, следующее.

Россия – страна мужицкая. То, что в ней не от мужика и не для мужика, – накипь, которую надо соскоблить. Мужик – единственный носитель истинно русской религиозной и общественной идеи. Сейчас он подавлен и эксплуатируем людьми всех иных классов и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник – всё это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они, и все, что идет от них, должно быть сметено, а потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. Законы, которые высижены в Петербурге чиновниками, он отменит ради своих законов, неписаных. И веру, которой учат попы, обученные в семинариях да академиях, мужик исправит, и вместо церкви синодской построит новую – «земляную, лесную, зеленую». Вот тогда-то и превратится он из забитого Ивана-Дурака в Ивана-Царевича.

Такова программа. Какова же тактика? Тактика – выжидательная. Мужик окружен врагами: все на него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до когтей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее, решающее слово. Следовательно, пока что ему не по дороге ни с кем. Приходится еще ждать: кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, кто именно пустит, – это пока все равно: хулиган ли мастеровой пойдет на царя, царь ли кликнет опричнину унимать беспокойную земщину – безразлично. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли, – все солома. Только бы полыхнуло.

Такова была клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевым он тотчас подружился и подпал под его влияние. Есенин был молод, во многом неискушен и не то чтобы простоват, – а была у него душа нараспашку. То, что бродило в нем смутно, несознанно, в клюевщине было уже гораздо более разработано. Есенин пришел в Петербург, зная одно: плохо мужику и плохо мужицкому Богу. В Петербурге его просветили: ежели плохо, так надобно, чтобы стало лучше. И будет лучше: дай срок – подымется деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив:

О, Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь.
……
Довольно гнить и ноять,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев этой Руси – в ряду с Алексеем Кольцовым, «смиренным Миколаем» Клюевым и беллетристом Чапыгиным:

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Грядущее уничтожение «смердящих снов», установление «иной крепи» видится Есенину еще смутно. «Звездный шум», который несут мужицкие пророки, можно тоже понять по-разному. Но Есенин уверен в одном: что

… не избегнуть бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых врат.

Освобожденная Русь – град лазурный и невидимый. Это нечто неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин. Но знает конкретно, что путь к ней лежит через «бурю», в которой развернется мужицкая удаль. Иначе сказать – через революцию. Появление этого сознания – важнейший этап в душевной биографии Есенина.

Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит и с самого верху. Клюевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но – это нужно заметить – в те годы скорее ждала революции сверху. Через год после появления Есенина в Петербурге началась война. И пока она длилась, Городецкий и Клюев явно ориентировались направо.

Книга неистово патриотических стихов Городецкого «Четырнадцатый год» у многих еще в памяти. Там не только Царь, но даже Дворец и даже Площадь печатались с заглавных букв. За эту книгу Городецкий получил высочайший подарок: золотое перо. Он возил и Клюева в Царское Село, туда, где такой же мужичек, Григорий Распутин, норовил пустить красного петуха сверху. От клюевщины несло распутинщиной.

Еще не оперившийся Есенин в те годы был послушным спутником Клюева и Городецкого. Вместе с ними разгуливал он сусальным мужичком, носил щегольские сафьянные сапожки, голубую шелковую рубаху, подпоясанную золотым шнурком; на шнуре висел гребешок для расчесывания молодецких кудрей. В таком виде однажды я встретил Клюева и Есенина в трамвае, в Москве, когда приезжали они читать стихи в «Обществе свободной эстетики». Правда, верное чутье подсказало Есенину, что в перечень крестьянских пророков было бы смешно вставить барина Городецкого, но все-таки от компании он не отставал. От ориентации на Царское Село – тоже.

* * *

Это последнее обстоятельство закреплено в любопытном документе. Дело в том, что помимо автобиографии, которую я цитировал выше и которая писана летом 1922 года в Берлине, Есенин, уже по возвращении в советскую Россию, составил вторую. После смерти Есенина она была напечатана в журнале «Красная нива».

По-видимому, эта вторая, московская автобиография написана неспроста. Мне неизвестно, какие именно обстоятельства и воздействия вызвали ее к жизни и куда она была представлена, но в ней есть важное отличие от берлинской: на сей раз Есенин в особом, дополни-

тельном отрывке рассказывает о том, про что раньше он совершенно молчал: именно – о своих сношениях с высшими сферами и вообще о периоде 1915–1917 гг. Московская биография написана в том же непринужденном тоне, как и берлинская, но в ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство.

Это сказалось даже в мелочах: например, Есенин дату своего рождения приводит уже не по старому стилю, а по новому: 3 октября вместо 21 сентября; церковно-учительскую школу, в которой он обучался, теперь он предусмотрительно именует учительской просто, – и т. п. Что же касается неприятной темы о сношениях с Царским Селом, то вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это и есть главный пункт, ради которого писана вторая автобиография. Об этих сношениях ходили слухи давно. По-видимому, для Есенина настал, наконец, момент отчитаться перед советскими властями по этому делу и положить предел слухам. (Возможно, что это было как раз тогда, когда разыгралась история с антисоветскими дебошами Есенина.) Так ли, иначе ли, – Есенину на сей раз пришлось быть более откровенным. И хотя он отнюдь не был откровенен до конца, все же мы имеем признание довольно существенное.

«В 1916 году был призван на военную службу, – пишет Есенин. – При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском, недалеко от Разумника-Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее».

Тут, несомненно, многое сказано – и многое затушевано. Начать с того, что покровительство адъютанта императрицы ни простому деревенскому парню, ни русскому поэту получить было не так легко. Не с улицы же Есенин пришел к Ломану.

Несомненно, были какие-то связующие звенья, а главное – обстоятельства, в силу которых Ломан счел нужным принять участие в судьбе Есенина. Неправдоподобно и то, что стихи читались императрице просто «по просьбе Ломана». По письмам императрицы к государю мы знаем, в каком болезненно-нервозном состоянии находилась она в 1916 году и как старалась оттолкнуть от себя все, на чем не было санкций «Друга» или его кругов.

Ей было, во всяком случае, не до стихов, тем более – никому неведомого Есенина. В те дни и вообще-то получить у нее аудиенцию было трудно, – а тут вдруг выходит, что Есенина она сама приглашает. В действительности, конечно, было иначе: это чтение устроили Есенину лица, с которыми он был так или иначе связан и которые были близки к императрице… Есенин довольно наивным приемом пытается отвести мысль читателя от этих царско-сельских кружков: он, как-то вскользь, бросает фразу о том, что жил в Царском «недалеко от Разумника-Иванова». Жил-то недалеко, но общался далеко не с одним Разумником-Ивановым.

Далее Есенин пишет: «Революция застала меня на фронте, в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя». Это уж решительно ни на что не похоже. Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ написать стихи в честь царя: к счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых, же (и это главное) – трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей.

Вот об этом последнем факте он тоже умолчал. Между тем летом 1918 г. один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень».

Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году, и полная корректура содержала целый цикл стихов, посвященных императрице. Не знаю, был ли в конце 1916 – в начале 1917 гг. Есенин на фронте, но несомненно,

что получить разрешение на посвящение стихов императрице было весьма трудно – и уж во всяком случае, разрешение не могло быть дано солдату дисциплинарного батальона.

Один из советских биографов Есенина, некто Георгий Устинов, по-видимому, хорошо знавший Есенина, историю о дисциплинарном батальоне рассказывает, хоть и очень темно и, видимо, тоже не слишком правдиво, но все же как будто ближе к истине. Отметив, что литературное рождение Есенина было «в грозе и буре патриотизма» и что оно пришлось «кстати» для «общества распутинской складки», Устинов рассказывает, как во время войны Есенин по заказу каких-то кутящих офицеров принужден был писать какие-то стихи.

О том, что дело шло о стихах в честь государя, Устинов умалчивает, а затем прибавляет, что когда «юноша-поэт взбунтовался, ему была указана прямая дорога в дисциплинарный батальон». Это значит, конечно, что за какой-то «бунт», может быть под пьяную руку, офицеры попугали Есенина дисциплинарным батальоном, которого он, по свидетельству Устинова, «избежал». Надо думать, что впоследствии, будучи вынужден поведать большевикам о своих придворных чтениях, Есенин припомнил эту угрозу и, чтобы уравновесить впечатление, выдал ее за действительную отправку в дисциплинарный батальон. Таким образом, он выставлял себя как бы даже «революционером».

Излагая дальнейшую жизнь Есенина, Устинов рассказывает, что при Временном правительстве Есенин сблизился с эсерами, а после октября «повернулся лицом к большевицким Советам». В действительности таким перевертнем Есенин не был. Уже пишучи патриотические стихи и читая их в Царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. Недаром, уверяя, будто отказался воспеть императора, он говорит, что «искал поддержки в Иванове-Разумнике». Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там, и здесь, – а вполне последовательно держался клюевской тактики. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет Россию; ждал, что из этого пламени фениксом, жар-птицею возлетит мужицкая Русь. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых – в рядах левых там, где «крайнее», с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и мало известны.

Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Уже в 1918 году был он на каком-то большевицком собрании и «приветливо улыбался решительно всем – кто бы и что бы ни говорил. Потом желтоволосый мальчик сам возымел желание сказать слово… и сказал:

– Революция… это ворон… ворон, которого мы выпускаем из своей головы… на разведку… Будущее больше…»

В автобиографии 1922 года он написал: «В Р.К.П. я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее».

«Левее» значило для него – дальше, позже, за большевиками, над большевиками. Чем «левее» – тем лучше.

Если припомним круг представлений, с которыми некогда явился Есенин в Петербург (я уже говорил, что они им скорее ощущались, чем сознавались), то увидим, что после революций они у него развивались очень последовательно, хотя, быть может, и ничего не выиграли в ясности.

Небо – корова. Урожай – телок. Правда земная – воплощение небесной. Земное так же свято, как небесное, но лишь постольку, поскольку оно есть чистое, беспримесное продолжение изначального космогонического момента. Земля должна оставаться лишь тем, чем она создана: произрасталищем. Привнесение чего бы то ни было сверх этого – искажение чистого лика земли, помеха непрерывно совершающемуся воплощению неба на земле. Земля – мать,

родящая от неба. Единственное религиозно правое делание – помощь при этих родах, труд возле земли, земледелание, земледелие.

Сам Есенин заметил, что образ телка-урожая у него «сорвался с языка». Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес существенную поправку. Ведь телок родится от коровы, как урожай от земли. Следовательно, если ставить знак равенства между урожаем и телком, то придется его поставить и между землей и коровой.

Получится новый образ: земля – корова. Образ древнейший, не Есениным созданный. Но Есенин как-то сам, собственным путем на него набрел, а набредя – почувствовал, что это в высшей степени отвечает самым основам его мироощущения. Естественно, что при этом первоначальная формула, небо – корова, должна была не то чтобы вовсе отпасть, но временно видоизмениться. (Впоследствии мы узнаем, что так и случилось: Есенин к ней вернулся.)

Россия для Есенина – Русь, та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды и сейчас работают его дед и отец.

Отсюда простейшее отожествление: если земля – корова, то все признаки этого понятия могут быть перенесены на понятие «родина», и любовь к родине олицетворится в любви к корове. Этой корове и несет Есенин благую весть о революции, как о предшественнице того, что уже «больше революции»:

О, родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровых глаз.

Процесс революции представляется Есенину, как смешение неба с землею, совершаемое в грозе и буре:

Плечами трясем мы небо,
Руками зыбим мрак,
И в тощий колос хлеба
Вдыхаем звездный злак.
О Русь, о степь и ветры,
И ты, мой отчий дом.
На золотой повети
Гнездится вешний гром.
Овсом мы кормим бурю,
Молитвой поим дол,
И пашню голубую
Нам пашет разум-вол.

Грядущее, то, что «больше революции», – есть уже рай на земле, и в этом раю – мужик:

Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.
Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

И та кошачья шапка,
Что в праздник он носил,
Глядит, как месяц, зябко
На снег родных могил.

Все, что в 1917–1918 г.г. левыми эсерами и большевиками выдавалось за «контрреволюцию», было, разумеется, враждебно Есенину. Временное правительство и Корнилов, Учредительное собрание и монархисты, меньшевики и банкиры, правые эсеры и помещики, немцы и французы, – все это одинаково была «гидра», готовая поглотить загоравшуюся «Звезду Востока». Возглашая, что

В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира,

Есенин искренно верил, например, что именно Англия особенно злоумышляет против:

Сгинь ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!

Ему казалось, что Россия страдает, потому темные силы на нее ополчились:

Господи, я верую!
Но введи в Свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзенный край.

Так начинается поэма «Пришествие». Она примечательна в творчестве Есенина. В дальнейших строках Русь ему представляется тем местом, откуда приходит в мир последняя истина:

За горой нехоженой,
В синеве долин,
Снова мне, о Боже мой,
Предстает твой сын.
По тебе томлюся я
Из мужичьих мест;
Из прозревшей Руссии
Он несет свой крест.

Далее, силы и события, которые, как сдается Есенину, мешают пришествию истины, даны им в образе воинов, бичующих Христа, отрекающегося Симона Петра, предающего Иуды и, наконец, Голгофы. Казалось бы, дело идет с несомненностью о Христе. В действительности это не так. Если мы внимательно перечтем революционные поэмы Есенина, предшествующие «Инонии», то увидим, что все образы христианского мира здесь даны в измененных (или искаженных) видах, в том числе образ самого Христа. Это опять, как и в ранних стихах, происходит оттого, что Есенин пользуется евангельскими именами, произвольно вкладывая в них свое

содержание. В действительности, в полном согласии с основными началами есенинской веры, мы можем расшифровать его псевдохристианскую терминологию и получим следующее:

Приснодева = земле = корове = Руси мужицкой.
Бог – отец = небу = истине.
Христос = сыну неба и земли = урожаю = телку = воплощению небесной истины = Руси грядущей.

Для есенинского Христа распятие есть лишь случайный трагический эпизод, которому лучше бы не быть и которого могло бы не быть, если бы не «контрреволюция». Примечательно, что в «Пришествии» подробно описаны бичевание, отречение Петра и предательство Иуды, а самое распятие, т. е. хоть и временное, но полное торжество врагов, – только робко и вскользь упомянуто: это именно потому, что контрреволюция, с которой так сказать, как с натуры, Есенин писал муки своего Христа, – в действительности ни секунды не торжествовала. Так что, в сущности, есенинский Христос и не распят: распятие упомянуто ради полноты аналогий, для художественной цельности, но – вопреки исторической и религиозной правде (имею в виду религию Есенина).

Потому-то «Пришествие» и кончается как будто парадоксальным, но для Есенина вполне последовательным образом:

Холмы поют о чуде,
Про рай звенит песок.
О, верю, верю – будет
Телиться твой восток!
В моря овса и гречи
Он кинет нам телка…
Но долог срок до встречи,
А гибель так близка!

То есть «верю, что постреволюция будет, но боюсь контрреволюции».

Потому и понятно есенинское восклицание в начале следующей поэмы:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь…
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Последний стих в свое время вызвал взрыв недоумения и негодования. И то, и другое напрасно. Нечего было недоумевать, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал свою главную мысль. Негодовать было тоже напрасно, или, по крайней мере, поздно, потому что Есенин обращался к своему языческому богу – с верою и благочестием. Он говорил: «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». А что он узурпировал образы и имена веры Христовой – этим надо было возмущаться гораздо раньше, при первом появлении не Есенина, а Клюева.

Несомненно, что и телок есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия на Агнца. Агнец – закланный, телок же благополучен, рыж, сыт и обещает благополучие и сытость:

От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,

Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.
И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.

Таково будет царство телка. И оно будет – новая Русь, преображенная, иная: не Русь, а Инония.

* * *

Прямых проявлений вражды к христианству в поэзии Есенина до «Инонии» не было, – потому что и не было к тому действительных оснований. По-видимому, Есенин даже считал себя христианином. Самое для него ценное, вера в высшее назначение мужицкой Руси, и в самом деле могло ужиться не только с его полуязычеством, но и с христианством подлинным.

Если и сознавал Есенин кое-какие свои расхождения, то только с христианством историческим. При этом он, разумеется, был уверен, что заблуждения исторического христианства ему хорошо известны и что он, да Клюев, да еще кое-кто очень даже способны вывести это христианство на должный путь. Что для этого надо побольше знать и в истории, и в христианстве, – с этим он не считался, как вообще не любят считаться с такими вещами даровитые русские люди. Полагался он больше на связь с «народом» и с «землей», на твердую уверенность, что «народ» и «земля» это и суть источники истины, да еще на свою интуицию, которою обладал в сильной степени. Но интуиция бесформенна, несвязна и противоречива. Отчасти чувствуя это, за связью, за оформлением шел Есенин к другим. В поисках мысли, которая стройно бы облекла его чувство, – подпадал под чужие влияния.

В 1917 году влияние Клюева, по существу близкого Есенину, сменилось левоэсеровским. Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической: не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что «есть Социализм и социализм». Что социализм с маленькой буквы – только социально-политическая программа, но есть и Социализм с буквы заглавной: он является «религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства… Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов». «Новая вселенская идея (Социализм) будет динамитом, она раскует цепи, еще крепче прежнего заклепанные христианством на теле человечества». «В христианстве страданиями одного Человека спасался мир: в Социализме грядущем – страданиями мира спасен будет каждый человек».

Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к есенинской поэме. Хронологически статья писана после «Инонии», но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не «Инония» навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а «Инония» явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником.

Не устрашусь гибели,
Ни копий, ни стрел дождей.
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.

Тут Есенин заблуждался. «Инонию» он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же вернее было сказать не «по Библии», а «по Иванову-Разумнику».

Есенин, со своей непосредственностью, перестарался. Поэма получилась открыто антихристианская и грубо-кощунственная. По каким-то соображениям Иванов-Разумник потом старался затушевать и то, и другое, свалив с больной головы на здоровую. Он уверяет, что Есенин «борется» не с Христом, а с тем лживым подобием его, с тем «Анти-Христом, под властной рукой которого двадцать (?) веков росла и ширилась историческая церковь».

По Иванову-Разумнику выходит, что они-то с Есениным и пекутся о вере Христовой. Правда, он тут же и проговаривается, что эта вера им дорога только как предшественница большей истины, грядущего Социализма, который и ее самое окончательно исправит и тем самым… упразднит, чтобы отныне мир больше уж не спасался «страданиями одного Человека»… нет уж, честное антихристианство Есенина в «Инонии» больше располагает к себе, чем его ивановская интерпретация.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.